

18+ ВЛАДИМИР ИСАЕВ

От нуля до креста



Владимир Исаев

От нуля до креста

<https://litres.ru/74147772>

ISBN 9785006995215

Аннотация

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Владимир Исаев — мастер психологической прозы, в которой внешняя фабула часто становится лишь прозрачным намеком на глубокий внутренний конфликт. Его герои — люди рефлексии, живущие скорее в мире идей и ощущений, чем в мире поступков. Для него характерна камерность, пристальное внимание к детали и та особенная интонация, где ирония мешается с экзистенциальной тоской.

Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

От нуля до креста	5
Незамысловатая история уездной планеты N	5
Часть 1	6
Глава 2	11
Глава 3	15
Глава 4	18
Глава 5	23
Глава 6	25
Глава 7	26
Глава 8	28
Глава 9	29
Зритель в нулевом ряду	37
Часть II. День сурка	50
Часть III. Финал	61
Половинка	67
Глава I	67
Глава II	69
Глава III	71
Глава IV	74
Глава V	76
Конец ознакомительного фрагмента.	78

От нуля до креста

Владимир Исаев

© Владимир Исаев, 2026

ISBN 978-5-0069-9521-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

От нуля до креста

Незамысловатая история уездной планеты N

Планета называлась так же, как и положено любой уставшей сфере в космосе, — Земля. Но это было лишь звуковое эхо, мнимый штрих в бухгалтерии вселенной. В действительности под тонкой коркой городов, лесов и океанов эта планета была гигантской биологической машиной, вязкой, как сгусток сновидения, с переплетением мясных тектонических плит и нервных магистралей из чистой плазмы.

Материки здесь шевелились ночью, как тела спящих чудовищ. Океаны не столько состояли из воды, сколько из разбавленных воспоминаний и растворенного страха. Облака были сгустками забытых молитв, просачивающихся через атмосферу, как просроченный парфюм, которым брызгали небо еще в доисторические эпохи.

Города вспухали из почвы, как опухоли, полные неона и цифровой слизи. Небоскребы торчали, как ржавые иглы из шприцов, вонзенных прямо в планетарное тело. По дорогам текли кроваво-асфальтовые реки, по ним скользили автомобили, больше похожие на капсулы сперматозоидов с выхло-

пами отчаяния, и каждый фарой подсвечивал то, чего видеть не хотел: отражение собственного пустого салона.

И все это было сценой: огромной анатомической театральной коробкой, в которой когда-то выступали настоящие хозяева — древние, жирные, ненасытные.

Эпоха Кровавых Аккумуляторов.

Часть 1

Сначала были они — не боги, а скорее межзвездные паразитарные промышленники, пришельцы-обжоры. Их имена нельзя было произнести человеческим языком, потому что каждое имя было формулой резни, уравнением вскрытой артерии. Они выглядели не как существа, а как архитектура: мясные соборы длиной в континент, чьи башни из костей уходили в стратосферу, а фундаменты прорастали в магму.

Когда они впервые вошли в орбиту планеты, пространство слегка слиплось. Вакуум вокруг склонился, как официант перед жирным гостем. Планету они увидели не как дом, а как кухню. Их корабли больше походили на гигантские кастрюли с форсунками, выжигавшими в космосе спирали тьмы.

Кровь была их топливом. Чистая, горячая, с пузырьками биохимических страхов — идеальный горючий материал.

Они спустились и начали «инфраструктурный апгрейд». Люди тогда были всего лишь мучнистыми существами — мягкотелыми, хрупкими, с примитивной психикой и вязки-

ми сновидениями. Но в жилах у них была красная жидкость, и этого оказалось достаточно.

Боги развернули планету, как сырую тушу на крюках.

Реки стали артериями: течения подправили, в устья вжили гигантские клапаны из титана и хитина, чтобы кровь мира текла в нужную сторону. Леса превратились в коагуляционные фильтры: каждая крона дерева была огромным свернувшимся тромбом из хлорофилла, а корни колыхались словно длинные, жадные языки, всасывающие питательные вещества из распадающейся органики.

Они построили Башни Откачки — грандиозные пирамиды из черного камня и белых костей. Там, в нутре, кровь собиралась, очищалась и вспенивалась в циклонных камерах. Испаряясь, она превращалась в эфирный топливный газ. Этот газ гнали по светящимся трубам вверх, в брюха кораблей-богов, где он сгорал в двигателях космического гедонизма.

Горизонт пылал заревом вечной бойни. Ужас был конвейером, человеческая жизнь — единицей счёта.

Они создали религию лишь как удобную технологию: не для утешения, а для логистики. Жрецы были всего лишь менеджерами поставок жидкости. Храмы — пункты сдачи биоматериала. Молитва — предварительный наркоз, чтобы тело не дергалось на крюке.

Великие Пастбища — мегаполисоны, где миллиарды людей паслись под химическим небом, кормились белковыми

суррогатами, плодились, как дрожжи. Их держали в оцепляющем блаженстве, как батарейных кур, покрытых прививками, чтоб не померли до срока. Любое восстание было для богов лишь эмоциональной приправой к крови: чем больше страха, тем выше выход энергии.

Но каждый конвейер когда-нибудь забивается.

Сначала это проявилось в мелочах. Кровь стала чуть гуще. В ней обнаружились странные комки — сгустки коллективных страхов и мутировавших снов. Химический состав менялся: повышалось содержание распавшихся надежд и токсичных разочарований. В одной из башен так называемые Химеры-аналитики — кибернетические слизи — впервые вычислили тревожный показатель: коэффициент духовного закипания.

Люди начали думать.

Не о свободе — до этого никто еще не дорос. Они начали думать о бессмысленности. Их сны отравились абсурдом: им снилась не смерть и не жизнь, а пауза между, растянутая, как жвачка на подошве. Появилось экзистенциальное брожение: плотный, вязкий газ безнадежности, который начал проникать в кровоток человечества.

Боги продолжали жрать, не замечая легкого привкуса тухлятины.

Корабли-мешки, висящие над атмосферой, раздувались. Икоты вселенских двигателей становились все чаще. В топливных камерах образовывались коксованные наросты из

перегоревшего страха. Система фильтрации забилась фрагментами осознанных вопросов вроде «зачем?» и «почему?». Для богов эти вопросы были как песок в масле.

В один особенно ненасытный космический сезон они решили устроить тотальную жатву: по всей планете разом активировали Резонаторы Резни — гигантские звуковые приборы, что доводили биосферу до истерики. Люди орали, умирали, рвали друг друга, города слипались из расплавленных тел и бетона. Кровь хлынула такими потоками, что океаны на время окрасились в вишневый цвет.

Но это была уже не прежняя кровь.

Она была бродильной, кислой, красно-коричневой. В ней плескалось слишком много вины без покаяния, тоски без веры, боли без цели. Это была не свежая, бодрая кровь стада, а отработанный, липкий отвар отчаяния.

Как только этот кисловатый концентрат попал в топливные камеры богов, началось их великое обжорное вымирание.

Сначала у двигателей случилась икота масштаба созвездия. Пламя вырвалось в обратную сторону. Внутренние кишки кораблей начали плавиться, превращаясь в лиловые сопли. Сами боги, эти мясные архитектуры, ощутили нечто, чего не знали никогда: несварение.

Их колоссальные тела, обмотанные ремнями темной материи, начали судорожно сжиматься. Они корчились, как дети, переевшие сладкого, и одновременно как звезды, у кото-

рых кончилось топливо. Внутри них шла дикая химическая реакция: кровь, отравленная сознанием, скисала, пенилась и раздувалась, порождая пузыри из отрицательных эмоций.

Боги начали захлебываться.

Они пытались отрыгнуть лишнее. Рвота у них была космической: они выплеснули в окружающее пространство целые туманности недопереваренных цивилизаций. Кометы из свернувшейся крови прочертили небеса. Несколько богов буквально разорвало пердежом — выбросы энергии из их тел были такими мощными, что вспарывали пространство, создавая подпространственные язвы.

Один особенно жадный бог, известный как Тот-Что-Пьет-Без-Мер, пытался спасти себя. Он принудительно создал глобальный пост: перекрыл всю резню, заставил человечество сидеть тихо, голодно и смиренно. Но было поздно: его бесконечные бункеры-печки были уже забиты скисшей кровью до краев. Когда он попытался включить систему очистки, та сработала наоборот — превратила всю накопленную кровь в газообразный сарказм.

Сарказм, растворенный в топливе, оказался смертельным для богов.

Их клетки, привыкшие к искреннему ужасу и честной агонии, не выдержали этого ядовитого смеха. Ткани начали отвергать самих себя. Их кожа скатывалась клочьями метафизики, под ней обнажались ржавые скрепы смысла, которые тут же ломались.

Они вымирали не героически и не трагично. Они вымирали смешно, нелепо: захлебываясь, срыгивая целыми континентами, сдуваясь, как проколотые огромные аквариумы с кровью.

Одни сжались до размеров микробов и утонули в каплях собственного пота. Другие попросту забыли, что нужно дышать, и замерли в вакууме, превратившись в монументальные мумии, дрейфующие между орбитами, как уродливые спутники. Третьих разорвало изнутри собственной виной за обжорство, внезапно проснувшейся и ставшей оружием.

Эпоха Кровавых Аккумуляторов окончилась не громом, а странным подвывающим шипением, словно кто-то огромный наконец-то выпустил из себя накопившийся газ.

Планета осталась. Кровь — тоже. Но хозяйева кухни исчезли.

И наступила новая эра — более изящная, липкая, прозрачная.

Глава 2

Когда тяжелые чудовища ушли со сцены, на их место потянулись иные — тонкие, голодные, эстетские. Не было больше огромных кораблей и мясных храмов. Вместо них явились божества, похожие на сеть запахов, на систему отражений в лужах. Они не имели формы в привычном смысле, зато имели аппетит к тому, чего раньше никто не пробовал:

к мысли, эмоции, к чувствам, которыми люди пытались заполнить пустоту, оставшуюся после отъезда кровавых богов.

Эти новые существа были как грибница, простёртая над и под миром. Они жили в щелях между словами. В паузах между вдохами. В чувствах, которые так и не были высказаны.

Общество потребления душ, Хищники нижнего звена и Энергетические анорексики — вот три ветви одного и того же фрактала. Каждый человек был маленькой копией больших богов, но с разной мощностью, как дешёвые и премиальные модели одного и того же устройства.

Наверху пищевой цепи сидели те, кого принято было называть элитой: политики, поп-звезды, актеры, инфлюенсеры, духовные лидеры, мастера сцен и экранов. Они были самыми успешными из богоподобных: научились заглатывать не кровь и не плоть, а концентрированное внимание — энергию взглядов, лайков, восхищения, ненависти, споров.

Они выглядели странно, если смотреть не обычными глазами, а тем особым внутренним зрением, которое иногда включается у людей на грани сна и психоза.

Политики в этой перспективе были гигантскими раздувшимися пиявками, одетыми в костюмы из человеческих обещаний. Их тела напоминали мешки с трепещущими лицами избирателей — сотни, тысячи маленьких масок, вставившихся в их кожу. Каждая маска шептала что-то: надежду, страх, ненависть к соседу. Они питались этим шумом, как

разумный пылесос.

Когда они выходили выступать, реальность вокруг слегка искривлялась: слова из их ртов вылетали не звуками, а лопающимися пузырями эмоций. Толпа дышала этими пузырями, заражалась ими, и в ответ посылала обратно плотный поток внимания. В тот момент политик вспухал — не физически, а энергетически: становился больше, тяжелее, вонзал свои невидимые корни в коллективный страх.

Поп-звезды и актеры были другими тварями: они напоминали грибные организмы. Их тела состояли из мифов о себе. Каждый миф — как полупрозрачный пласт: «гений», «икона», «бунтарь», «невинная мятежница». Они росли слоями, как коралловые рифы в океане чужих фантазий. Издалека они светились разноцветным фосфором: фанаты видели этот свет и шли к нему, как мотыльки к лампе.

На стадионах эти существа делались чудовищно огромными. Сцена для них была алтарем. Софиты — хирургическими лампами, под которыми шла операция по вскрытию сердец толпы. Каждый выкрик, каждый припев был крюком, заброшенным в зал. Тысячи людей вскидывали руки — как отдавая в залог собственные пульсы. Энергия летела вверх: кумиру в глотку. Тот проглатывал ее, и его глаза начинали светиться неоновым безумием.

Инфлюенсеры же были существами иного, более вязкого типа. Они жили в экранах. В их истинном облике не было ничего человеческого — просто комок жадных глаз, губ и рук,

собранных в одну гримасу. Каждый их пост, каждый сторис был липучкой, на которой оседали микрочастицы внимания.

Неоновые вены мегаполисов пульсировали их именами. Лайки были как крошечные капельницы, один за другим втыкающиеся в их цифровые тела. Чем больше лайков, тем массивнее разрасталась их тень, нависающая над городами.

Скандалы были для них тем же, чем когда-то была кровь для древних богов.

Когда на кого-то из них обрушивалась травля, в воздухе появлялся запах свежеразрубленных ментальных туш. Они, как гиены, вгрызались в собственную репутацию, превращали позор в контент. Их слезы в прямых эфирах были густым сиропом, сладким и питательным. Ненависть толпы давала столь же мощный заряд, как и обожание: важно было только одно — не быть забытым.

Каждый экран был маленьким храмом, каждая подписка — мини-обетом верности.

И эти существа, раздутые чужими эмоциями, в какой-то момент стали походить на тех самых кровавых богов, только более утонченных и эстетизированных. Им уже не нужно было открытое жертвоприношение. Люди сами приносили себя в жертву: временем, вниманием, психикой.

Ниже обитали те, кого называли «обычными» людьми. Но в этом мире обычных не существовало — все были частью пищевой цепи. Просто одни ели целые толпы, а другие — по чуть-чуть, украдкой, как офисные крысы по ночам грызут

провода.

Домашние тираны были наиболее примитивными хищниками. Они напоминали ночные растения: днем вели себя вялыми, но к вечеру распускали хищные цветы из сарказма, крика и давления. Их лепестки были словами: «ты ничего не умеешь», «ты без меня никто», «ты мне должна». Каждый такой лепесток ранил, и из ран сочилась энергия — жидкий, почти невидимый свет, который пили их корни.

В офисах жили другие виды: пассивно-агрессивные вампиры открытого пространства. Они питались чужой усталостью, случайной благодарностью, вниманием начальства, которое им предназначалось. Их можно было узнать по взгляду — тусклому, но целенаправленному.

Но были и отшельники. Вот они и не кормили никого.

И именно на них накатила следующая волна эволюции.

Глава 3

В одном пригороде-не-пригороде, на границе города и геологической депрессии, где трубы торчали из земли, как торчащие изо рта сигареты давно умершего великана, жил один такой — безымянный для хроник, незаметный для статистики.

Назовем его просто: Он.

Он не верил ни в древних богов-обжор, ни в утонченных бестелесных паразитов. Не потому, что был смелее или умнее, а потому, что в нем сдохла сама способность верить вовне. Вера для него была продуктом с истекшим сроком годности: как консервы, которые забыли в бомбоубежище прошлого века.

Он работал когда-то — кем-то мелким. Потерял эту работу, как теряют перчатку в метро: заметил, пожал плечами, не вернулся за ней. Семья была, но рассыпалась, как гипсовая фигурка, у которой от влажности отвалилась голова. Дружья осыпались следом, как облупившаяся краска. В какой-то момент у него не осталось ничего, что тянуло бы к другим.

Он жил в квартире на четвертом этаже облезлого дома, который сам походил на высохшую раковину. Обои были вспухшими, как мертвые медузы. Окна — заросшими пыльными капиллярами. Он почти не выходил.

Соседи звали его чудаком. Город — статистической погрешностью. Боги-паразиты — мертвой зоной. Для алгоритмов он был провалом: не реагировал на рекламу, не лайкал, не комментировал, не подписывался, не ругался. Его цифровой профиль был почти ровной линией.

Он не питался чужой энергией. Всякий раз, когда кто-то пытался втянуть его в разговор, он чувствовал, как внутри поднимается рвотная волна. Не физическая — энергетическая. Словно каждое чужое «а как ты думаешь?» — это крючок, пытающийся зацепить его внутренность.

Он перестал думать о себе как о части чего-либо. Это было не позой и не протестом; это была усталость химического уровня.

Долгое время он чувствовал себя пустым. Но где-то после критической точки одиночества — той, где большинство ломается и бежит назад к толпе — с ним случилось другое.

Однажды ночью он проснулся от ощущения, что внутри его груди кто-то тихо, осторожно разжигает костер.

Это не было похоже на инфаркт или панику. Это было похоже на то, как в глубине заброшенной шахты включается крошечный, но очень древний генератор. Вибрация была почти неуловимой. Но она была его собственной.

Он лег, закрыл глаза и стал слушать.

С каждым днем это ощущение крепло. Он заметил, что больше не устает от простых вещей — как будто где-то внутри включился дополнительный источник энергии. Но он не отдавал ее наружу. И не брал снаружи.

Его внутренний костер не нуждался в лайках, признании, чужом внимании, одобрении. Он не нуждался даже в божественном смысле. Это был тупой, животный, но абсолютно автономный огонь существования.

Он больше не просил у мира ни за что прощения. И не ждал от мира благодарности. Вина ушла. Страх — тоже. Осталось странное, ровное сияние: «я есть». Без продолжения.

Снаружи это выглядело как усугубление его чудачества.

Он стал еще меньше говорить, еще реже выходить, еще незаметнее быть для общей картины. Но боги-паразиты впервые по-настоящему испугались.

Их сенсоры показывали невозможное: в точке, где был этот человек, не просто не регистрировались выбросы эмоций — там шло устойчивое излучение.

Перевернутая логика: вместо того чтобы отдавать или брать, он стал источником.

На тонких слоях реальности вокруг него происходило странное: молитвы, пролетавшие по сетям, огибали его, как вода — камень. Длинные ментальные щупальца богов пытались проникнуть внутрь, но обугливались, как мухи, залетевшие в пламя.

Никто из людей этого не замечал. А он сам, если бы и заметил, лишь пожал бы плечами.

Его не интересовала власть, учительство, мессианство. Он не хотел «нести свет» другим. Это была не духовность, а чистая физика: он ушел в абсолютный ноль потребления чужой энергии — и в какой-то момент его личное «я» стало критической массой.

Как ядро в ядерном реакторе, достигшее точки, когда цепная реакция становится самоподдерживающейся.

Глава 4

Мир в то время кипел.

Общество потребления чужих душ достигло апогея: инфлюенсеры перевернули понятие реальности так, что люди верили в симуляции сильнее, чем в собственное тело. Политики кормились паникой глобальных катастроф. Поп-звезды устраивали прямые эфиры с похорон собственных альтер-эго, чтобы собрать рекордные рейтинги.

Духовные паразиты утончились до предела: вкусовые рецепторы их бестелесных ртов различали оттенки вины — семейную, сексуальную, профессиональную, культурную — как сомелье различает винтажи.

Эфирный бульон был густым, как смола.

И в этом вязком супе вдруг образовалась трещина.

Не громкая. Не эффектная. Никаких труб, никаких трубящих небес, никаких апокалиптических крыльев.

Просто в один момент — точнее, в одну ничем не отмеченную ночь — внутренний реактор того самого Отшельника достиг предельной плотности.

Все, что он за годы не отдал миру, все невысказанные слова, несостоявшиеся реакции, несделанные выборы, неразделенные боли, неразделенные радости — все это не исчезло; оно утрамбовалось внутрь. Сжалось до сверхплотной точки самости.

На искусственных небесах, где зависали фантомные боги, сенсоры показали абсурдное значение: локальная плотность «я» в одной человеко-единице превысила средний уровень по планете примерно бесконечно раз.

И в ту секунду, когда его внутренний реактор перешагнул порог, мир щелкнул.

С точки зрения физики — это выглядело бы как формирование сингулярности. С точки зрения мифологии — как рождение нового бога. С точки зрения социальных сетей — как отсутствие новых постов от неизвестного никому аккаунта.

Реально же произошло следующее:

Он перестал быть частью общей пищевой цепи настолько радикально, что сама цепь потеряла смысл. Как если бы один зубчатый колесик в огромном механизме вдруг не просто выпал, а стал черной дырой, в которую потянулись все оси, болты, шестеренки.

Всю планету на одном, очень глубоком уровне слегка вывернуло наизнанку.

Боги-паразиты, будучи галлюцинацией, зависящей от согласованной веры и страха масс, почувствовали в его внутреннем «я» смертельную угрозу: вот место, где никто не верит, не боится, не ждет, не оправдывается.

Фантомы, лишённые подпитки, начали мерцать. Их храмы-рестораны, построенные из внимания, на долю секунды потеряли клиентов — словно все люди одновременно моргнули. Этого мига оказалось достаточно.

Галлюцинация дала трещину.

Пошла волна: от его квартиры, где пахло старыми книгами и пылью, по городу, где пылали неоновые вены, пульси-

рующие лайками, по материкам из усталой плоти, по океанам разбавленных страхов.

Люди на долю секунды почувствовали странное: как будто все те боги, во имя которых они страдали, подняли головы — и оказалось, что шеи у них нет. Что головы нарисованы на внутренней стороне собственного черепа.

То был миг тотального прозрения, но столь же быстро он и схлопнулся. Сознание в массовом порядке не выдерживает таких перегрузок: оно отскакивает, как резинка.

Но мига хватило.

Духовные паразиты, будучи всего лишь узором в эфире, сложенном из общих представлений, начали коллапсировать. Не умирать в драматическом смысле, а рассыпаться на составляющие: обрывки детских страхов, подростковых бунтов, родительских разочарований, культурных штампов.

Они таяли, как туман, когда солнце вдруг без спроса выныривает из-за облака.

А затем случилось главное:

Старые кровавые боги, те самые, что «вымерли», хранящиеся в людях на молекулярном уровне, почувствовали шоковую пустоту наверху пищевой пирамиды.

Не стало внешних хищников. Не стало надстроек. Остались только они — в своем новом, урезанном, человеческом варианте.

И отшельник — тот, в котором первый из них прошел полный цикл: от чудовища, через деградацию в человека, к

автономному, самодостаточному «я».

Его внутренний реактор не просто схлопнул галлюцинацию богов. Он пробил дыру в самом принципе энергетического паразитизма. Он стал точкой, где можно существовать, не поедая никого и не будучи съеденным.

В масштабах космоса это был ничтожный эксперимент. Но мир этой планеты к этому не привык.

Физически ничего за счет этого не взорвалось: небоскребы не падали, моря не кипели. Напротив — наступила странная тишина. Как после внезапно выключенного телевизора, когда еще звенит в ушах.

Люди продолжили жить. Инфлюенсеры постили. Политики врали. Поп-звезды пели. Хищники нижнего звена ругались. Отшельники прятались.

Но в глубине структуры реальности образовался новый слой: возможность существования без вовлечения в общую хищническую экономику.

Отшельник — сам того не зная — стал не мессией, не богом и не героем. Он стал первой стабильной частицей новой физики.

Можно было бы ожидать продолжения в стиле сводки: «Через сто лет X, через тысячу лет Y». Но эта планета, этот вывернутый наизнанку двойник Земли, не любила прямых линий и предсказуемых траекторий. Она думала фракталами, жевала собственные хвосты, отрывивала новые формы из старых костей.

Поэтому продолжение не было ни вверх, ни вперед. Оно было в стороны, внутрь и чуть-чуть назад.

Глава 5

После того, как внутренний реактор первого Отшельника отработал свой безмолвный взрыв, ткань мироздания долго приходила в себя. Это не было событием во времени — скорее, изменение постоянной в каком-то безымянном уравнении.

Люди продолжали верить в богов. Но вера стала чуть более вялой, как если бы кто-то подменил водку на слабую разбавленную настойку.

Пантеоны обновлялись: одни боги уходили в моду, другие выходили. Появлялись новые духовные паразиты-бренды, корпорации-раздатчики смысла, глобальные гуру-платформы, обещающие «осознанность в один клик». Но между их улыбками, между строками их лозунгов начала проскальзывать тонкая, еле заметная трещина: недоверие к самим себе.

Иногда на конференциях по духовности, на фестивалях осознанного потребления кто-то вдруг ловил себя на мысли: «А если то, что мы делаем, — всего лишь новая упаковка старой жадности?» И тут же отгонял: «Нет-нет, это же о любви, об энергии, о развитии...»

Но мысль оставалась, как заусенец на внутренней стороне

языка.

Политики, зажавшиеся эмоциями народа, внезапно начали болеть странными болезнями: у них отказывали органы, которые не были предусмотрены анатомией. У одного выросла тень второго сердца, и оно билось отдельно, не подчиняясь ни страху, ни жадности. У другой в голове обнаружили бездонную камеру, в которой слова пропадали без эха.

Поп-звезды просыпались ночью в холодном поту, с ощущением, что их фанаты — это не отдельные существа, а зеркала, в которых отражается пустое место. Они продолжали туры, выпускали альбомы, собирали стадионы, но каждый раз, когда толпа ревела, где-то в глубине сцены стояла маленькая, тихая тень, не поддающаяся освещению прожекторами. В нее нельзя было войти. Она не давала обратной связи. И этим сводила с ума.

Инфлюенсеры, зависимые от лайков, в какой-то момент начали наткаться на аккаунты-призраки: молчаливые страницы без постов, без аватарки, без описания. Миллионы глаз проходили мимо. Но те, кто случайно задерживал взгляд, чувствовали странное: будто этот нулевой профиль смотрит на них в ответ. Без оценки. Без желания. Без ненависти. Просто смотрит.

Это были отпечатки — цифровые призраки новых отшельников, еще не включивших своих реакторов, но уже вышедших из игры.

Духовные паразиты пытались настроить под них новые ло-

вушки: специальные культы для избранных, элитарные секты «интровертных богов», премиум-мистика для тех, кто «над системой». Но всякий раз эта конструкция съезжала в абсурд: отшельники не приходили.

Потребовались поколения, чтобы стало видно: доля людей, которые не играют, растет.

Глава 6

Они не образовывали общин. Не собирались в «ордена». Не строили монастыри. Они не любили друг друга, не объединялись, не называли себя «особенными». Это было бы уже обменом энергией, а они отталкивали саму идею обмена.

Они просто выпадали.

Из статистики — как люди, которые не пользуются основными сервисами. Из политики — как те, кто не голосует и не протестует. Из экономики — как те, кто живет на минимуме, незаметном для бухгалтерии планеты. Из культуры — как те, кто не смотрит, не слушает, не делится.

Их становилось больше, но они не образовывали «движение». Каждый был своим собственным тупиком.

И каждый в этом тупике, если не ломался, рано или поздно приходил к той же внутренней границе: точке, где дальше либо суицид, либо реактор.

Многие ломались. Мир по-прежнему был жестким, тупым и хищным. Но тех, кто выдерживал — кто позволял пустоте

не разрушить, а сжать — становилось с годами достаточно, чтобы структура мира начала переспрашивать саму себя.

Появились зоны — города, кварталы, регионы, — где плотность таких людей была аномально высока.

Там не приживались крупные религии. Не взлетали большие шоу. Не строились гигантские храмы и арены. Политические митинги собирали жалкие группы. Рекламные кампании проваливались с треском.

Снаружи эти места казались «депрессивными районами» — без ярких огней, без громких событий, без крупных инвестиций. Но если провести очень тонкий замер, можно было обнаружить странное: уровень повседневного ужаса там был ниже. Не счастья — именно ужаса.

Как если бы в этих дырах немного ослабили гравитацию пищевой цепи.

Глава 7

Где-то в недрах одного из таких районов появился тот, кто мог бы быть Хронистом — если бы не его принципиальная анонимность.

Он не был отшельником в полном смысле: он еще реагировал на мир, но уже не участвовал. Он был чем-то средним между камнем и антенной. Он видел структуру мира странным, внутренним зрением, как старую, заезженную пластинку с царапинами от предыдущих эпох.

Ему не являлись ангелы. Не снились боги. Не приходили откровения в духе манифестов. Но время от времени в тишине своего черепа он слышал слабый гул, как отдаленный рев двигателя, работающего совсем в другом измерении.

Это были отшельники, включившие свои реакторы.

Они не передавали ему слова. Они просто были фоном. Молчаливым доказательством того, что возможен способ быть — без этого вечного обмена: «я дам тебе страх, ты дашь мне энергию», «я дам тебе вину, ты дашь мне смысл», «я дам тебе боль, ты дашь мне власть».

Он пытался записать это. Но запись каждый раз превращалась в нечто слишком простое:

— Боги — это мы, когда мы хотим оправдать свое право жрать.

— Люди — это боги, которые забыли, что они боги, и теперь жрут друг друга по мелочи.

— Отшельники — это боги, отказавшиеся жрать вообще.

Все попытки сделать из этого учение выглядели фальшивкой. Он рвал тетради, сжигал файлы, крошил черновики. Любой манифест становился бы новой религией. Любое учение — новым рестораном для паразитов.

Истина, если таковая была, не должна была стать блюдом. Она должна была оставаться чем-то вроде неразогретого камня.

Поэтому он ничего не основал. Ничего не объявил. Нику-

да не пошел.

Он просто жил. Смотрел. И иногда ощущал, как где-то в мире, который все еще резал себя ради рейтингов и жрал себя ради успокоения, вспыхивали крошечные, независимые, холодно-яркие точки. Новые внутренние реакторы.

Глава 8

В один особенно выжатый век, когда планета уже не отличала мусор из пластика от мусора идей, один из оставшихся метафизиков — не шаман, не священник, а, допустим, старый ученый с не до конца отмершим чувством юмора — попытался свести всё в одно предложение.

Он сказал:

«Вселенная — это шутка, которую рассказывает сама себе. Боги — это попытка объяснить, над чем мы смеемся. Люди — смех, который застрял в горле и превратился в крик. А отшельники — это те, кто наконец перестал смеяться и кричать, но ещё не стал тишиной».

Никто его не услышал. Статья вышла в третьесортном журнале и потерялась среди предсказаний погоды и рекламы таблеток от тревоги. Но фраза осталась в пространстве — как звук, который никто не распознал, но который всё равно немного качнул воздух.

Глава 9

Если смотреть снаружи — с какого-нибудь холодного спутника, припаркованного на орбите безымянной звезды, — планета выглядела как любая другая: облака, материки, пятна городов, слабое свечение ночи. Ничто не выдавало, что под этой коркой когда-то жарили кровь, как масло, и строили мясные соборы. Ничто не подсказывало, что по невидимым слоям до сих пор шныряют обрывки духовных паразитов, доедающих отбросы чужих молитв.

С космической дистанции не видно, что в каждой коробке-офисе кто-то ест чью-то душу маленькими глотками. Не видно семейной бытовой бойни. Не видно, как десятки миллионов людей хором поднимают глаза к экрану и шепчут «дай еще контента». Не видно, как отшельник в четвертой квартире на пятом этаже чувствует, что его рвет от одной мысли о том, чтобы включить телевизор.

С космической дистанции видна только одна вещь: иногда в толще этого мира вспыхивает что-то тихое. Не вспышка войны, не пожар, не мегаполис. А мелкое, почти точечное изменение в спектре излучения.

Ни одной цивилизации вокруг это неинтересно. Ни одна космическая разведка не внесет это в отчеты. Но если бы кто-то умел видеть не свет, а структуру смыслов, он бы зафиксировал:

в этой точке не потребляют и не отдают. В этой точке законы пищевой цепи не действуют. В этой точке существует нечто, не зависящее от веры, вины, страха, поклонения, ненависти и жажды обожания.

Просто есть.

Такие точки множатся не геометрически, не экспоненциально. Скорее — по непонятному, ломаному адгоритму.

Финал случился в день, который ничем не отличался от остальных.

Не было ни красных лун, ни чёрных радуг, ни небесных тромбов из ангельских кишок. Была средняя погода планеты, уставшей придумывать себе спецэффекты: серое небо, вялый ветер, где-то за горизонтом сочился мегаполис, пульсируя неоновыми венами лайков.

В одной из тех точек, что давно перестали попадать в какие-либо сводки, жил обычный — уже не первый, уже не уникальный — Отшельник. Не тот самый первичный, а очередной. Настолько очередной, что его даже незачем обозначать местоимением. Просто — еще один.

У него была старая кружка без ручки. Старый матрас, который скрипел, как ржавая Вселенная при каждом повороте. Окно, через которое почти не было видно неба — только бетон соседнего дома, исписанный граффити прошлого века. И тишина, в которой время не тикало, а медленно капало, как густое масло.

Он не боролся ни с миром, ни с собой. Не медитировал. Не искал просветления. Он уже прошёл через стадии отвращения, злости, усталости, отчаяния. Всё это выгорело, испарилось, осело тонким налётом на внутренних стенках головы — как копоть.

Осталась пустота, не производящая шума.

Когда-то давно, еще до того, как он окончательно свернул все социальные щупальца, он слышал о богах. О древних, что жарили кровь в своих двигателях. О новых, что расставили во всём мире эфирные рестораны и пили из соломинок молитвы и лайки. О людях-богах, богах-людях, жрущих друг друга под предлогами свободы, любви, бизнеса, духовности.

Теперь все эти истории лежали в нём, как старые обгоревшие плёнки. Без звука, без движения.

В какой-то момент он поймал странную мысль: а что, если всё это — не более реально, чем ночной кошмар, который помнишь по утру только одной фразой? Мол, «там были какие-то чудовища, и я от них убегал».

И вот ты проснулся. Кошмар всё ещё сидит в тебе как дрожь, но сам сюжет уже рассыпался в прах. И ты можешь, если захочешь, продолжать представлять, что эти чудовища где-то там остались. А можешь — нет.

Он выбрал «нет».

Не как акт воли. А как разрешение самому себе больше не держать в голове ни богов, ни анти-богов, ни оправданий, ни проклятий. Как зачистку внутренней доски.

И в какой-то день — именно в этот, ничем не примечательный день — внутри него что-то окончательно дошло до критической плотности.

Это не был фейерверк. Не была вспышка. Это было, скорее, как щелчок выключателя в пустой комнате, когда понимаешь, что свет уже давно не нужен.

В ту секунду все невидимые сети, которыми мир пробовал его трогать, просто перестали задевать. Молитвы обогнули. Рекламные лозунги прошли мимо. Коллективные страхи не зацепились. Чужие ожидания не нашли в нём ни одного крючка.

Он стал для мира абсолютно прозрачным — но не в том смысле, что мир видел его насквозь, а в том, что мир проходил сквозь него, не оставляя ни царапин, ни пятен, ни следов.

Его «я» сжалось до точки — не исчезая, а, наоборот, обретая невозможную плотность. Как если бы из него выкачали всех богов, всех людей, всю историю, все объяснения, оставив лишь простой, как голый нерв, факт: он есть.

Без прилагательных. Без глаголов. Без нужды быть кем-то для кого-то.

В это же самое мгновение на другом конце планеты, в стеклянном зале, забитом людьми, какой-то харизматический пророк духовного фитнеса рассказывал, как стать собой, оставаясь в потоке любви вселенной. Он держал в руках микрофон, как жезл, его слова сверкали, как дешевые

метеоры. Толпа дышала в такт.

И вдруг на долю секунды у него в голове провалился текст.

Он открыл рот — и не смог произнести ничего. Не мантру. Не клише. Не призыв. Никакие слова не подходили. В горле стояла глухая пробка из невероятной, скромной тишины.

Он поймал глазами тысячные взгляды, полные жажды. И, к собственному тихому ужасу, увидел в них то, чего раньше не позволял себе видеть: не души, не лучики света, не братьев и сестёр. А рты. Привычные рты, которые привыкли жевать. И его — тоже.

На экране позади него заел слайд с надписью «РАСТИ СВОЮ ЭНЕРГИЮ». Буквы слегка дрогнули и поплыли, как масло на разогретой сковороде.

В другом месте, в огромной студии, инфлюенсер с миллионной аудиторией пытался записать очередной мотивационный ролик. Камеры, свет, идеальный мейкап. Он уже тридцать первый раз произносил фразу «Ребят, вы часто спрашиваете меня...», но каждый раз застревал на слове «вы».

Кто эти «вы»? Куски внимания? Тени? Мясо для алгоритмов?

Он выключил запись. Посмотрел в объектив — и впервые не увидел там ни публику, ни себя. Только чёрное отверстие линзы, похожее на крошечную, вежливую чёрную дыру.

В третьем месте, в полуразрушенном храме старой веры, где когда-то проливали кровь, а потом коленопреклонён-

но плакали, седой священник поднял глаза к потемневшему своду и вдруг понял, что молится не кому-то, а просто вверх.

И в этом «вверх» — пустота. Не враждебная. Не любящая. Просто незаинтересованная.

Всё это были слабые отголоски того внутреннего щелчка, который произошёл в никому не нужной квартире ещё одного Отшельника.

Мир не рухнул. Боги не умерли второй раз. Люди не проснулись массово. Никакого «великого перехода» не случилось.

Но что-то сдвинулось окончательно.

Древние кровавые боги, растворённые в генах человечества, ещё долго будут резать друг друга словами, сделками, войнами, клятвами, контрактами. Духовные паразиты ещё будут собирать остатки вины, страха и экстаза, крутя из них новые модные пантеоны. Человеческие хищники всех уровней ещё будут грызть, пить, сосать, требовать и оправдываться.

Никакая волшебная рука не выключит эту мясорубку одним движением.

Но с этого дня стало ясно — не всем, но самому миру — что в его теле есть кое-что, что не принадлежит больше этой схеме.

Крошечные, никому не нужные точки, в которых никакой бог — ни мясной, ни эфирный, ни социальный — не может найти пищи.

Точки, где фраза «по образу и подобию» теряет смысл, потому что образ и подобие больше ни с чем не соотносятся. Они не вверх и не вниз по цепочке. Они — в сторону, в глухой карман.

Не ангельские, не демонические, не святые, не проклятые. Просто автономные.

Концовка повествования — не в победе и не в катастрофе. Не в том, что кто-то кого-то сверг или спас. А в том, что посреди планетарного фритюра, среди шипящей крови и kloкочущего эфирного бульона, среди неоновых вен мегаполисов и бормотания мантр, среди криков, лайков, скандалов и истерик — появляется новая форма тишины.

Тишина, которая не молчит назло, не молчит в ожидании, не молчит из страха.

Она молчит потому, что больше нечего жрать и некому поклоняться.

Эта тишина не спасёт мир. Не сделает людей добрее. Не обнулит историю. Она даже, возможно, никому не нужна.

Кроме самой вселенной, которая в эту секунду — там, далеко, за пределами всех богов и всех галлюцинаций — впервые за долгое, изнурительно кровавое и духовно паразитарное время, позволяет себе роскошь:

посмотреть на себя изнутри и, вместо того чтобы снова придумывать смысл, просто сказать:

«Я есть. Этого достаточно».

А дальше — снова города, снова океаны, снова хищники,

снова отшельники. Снова мясо и свет. Снова абсурд.

Никакого окончательного финала.

Только эта маленькая, почти незаметная поправка в уравнении: отныне у любой вселенной, сколь бы голодной она ни была, есть право хотя бы в одной своей точке — никого не есть и никому не служить.

Рассказ на этом заканчивается.

Мир — нет.

Зритель в нулевом ряду

Сначала был запах. Не озона, не гнили и не стерильной больничной хлорки, которой обычно пахнет конец. Пахло старым бархатом, пылью, нагретой лампой проектора и немного — жженым сахаром.

Я открыл глаза. Темнота была не абсолютной, а мягкой, фактурной. Я сидел в кресле. Руки сами нащупали подлокотники — потертая ткань, под которой угадывалось жесткое дерево. Спина ощутила знакомый прогиб. Это было театральное кресло, но не из тех современных пластиковых ковшей, что стоят в мультиплексах, а из старых, советских, глубоких и тяжелых, какие бывали в ведомственных ДК.

Я был один. Огромный зал уходил куда-то ввысь и вширь, но я не видел стен. Только ряды пустых кресел впереди, уходящие в смутную дымку.

— Ну вот ты и пришёл, — голос раздался прямо за затылком.

Я не вздрогнул. Это было странно, но адреналин не ударил в кровь. Сердце (если оно у меня еще было) билось ровно, медленно, как метроном. Голос был не мужским, но и не

женским; каким-то спокойным, лишенным возраста и окраски. Так говорят дикторы, когда объявляют, что рейс задерживается навсегда.

— Ты кто? — спросил я. Мой собственный голос прозвучал глухо, словно вата поглотила звук.

— Ты знаешь, — ответило Оно.

Я знал. Это знание лежало во мне тяжелым холодным камнем. Это Смерть. Не старуха с косой, не ангел, не скелет. Просто Голос в ряду сзади. Тот, кто всегда сидел за спиной, пока я жил.

— Я умер? — спросил я. Вопрос был техническим, без трагизма.

— Скажем так: сеанс окончен, — ответил голос. В нем не было иронии. — Титры прошли. Свет еще не включили.

Впереди, там, где должна быть сцена, загорелся экран. Он не вспыхнул, а проявился, как проявляется изображение на фотобумаге в красной комнате. Экран был гигантским, занимая все поле зрения.

— Что это? — спросил я.

— Хроника, — ответил Голос.

На экране появилось изображение. Оно было невероятно

четким, гиперреалистичным, ярче, чем сама жизнь. Я увидел комнату. Обычную кухню с бежевыми обоями. За столом сидел дядя. Мой дядя, который умер полгода назад от инсульта.

Я помнил его похороны: желтое лицо, запах ладана, холодный лоб. Но здесь, на экране, он был живым. Или... почти живым. Он сидел перед чашкой остывшего чая и смотрел в окно. Но за окном ничего не было. Белая муть.

— Где он? — спросил я.

— В своей памяти, — ответил Голос. Он объяснял охотно, обстоятельно, словно экскурсовод в музее, где экспонаты нельзя трогать. — Он перебирает варианты. Смотри на его руки.

Дядя Витя поднял руку, чтобы взять чашку. Но его пальцы прошли сквозь керамику. Он нахмурился, попробовал снова. Получилось. Он отпил. Лицо его разгладилось.

— Он не понимает? — спросил я.

— Понимает. Но инерция восприятия слишком сильна, — пояснил Голос. — Он конструирует реальность из остаточных сигналов. Он сейчас проживает то утро, когда не успел помириться с женой. Он будет пить этот чай, пока не простит себя. Или пока не устанет.

— Это ад?

— Нет. Это хуже. Монтаж. Он пытается смонтировать финал, который его устроит.

Я смотрел на дядю Витю. В жизни он был шумным, веселым, любил выпить. Здесь он был сосредоточен и тих. Он создавал вокруг себя мир: вот появилась сахарница, вот тикают часы. Он усилием воли держал эту иллюзию.

И тут меня осенило.

Я перевел взгляд с экрана на свои руки, лежащие на бархатных подлокотниках. Потом снова на экран. Потом закрыл глаза и вспомнил.

— Послушай, — сказал я, не оборачиваясь. — Я ведь жил. Я помню. Я купил мотоцикл в тридцать лет. Я проехал на нем до Байкала. Я помню ветер. Я помню, как он бил в грудь, как шумело в шлеме. Я помню запах мокрого асфальта под Иркутском. Я помню холод воды, когда я нырнул. Я помню вкус крови, когда разбил губу в драке.

— Помнишь, — подтвердил Голос. — И что?

— Это было реально! Я двигался. Я перемещался в пространстве. Я чувствовал километры, которые пожирали ко-

леса. Я чувствовал усталость мышц.

Голос помолчал. В этой тишине я услышал, как скрипнуло кресло подо мной.

— Ты никогда не покидал этого зала, — произнес Голос. Мягко, но так весомо, что слова показались материальными, — бегал кто-то другой... то есть бегал «не ты», а некое тело с руками и ногами, а ты всё время находился здесь...

Я хотел рассмеяться, но смех застрял в горле.

— Чушь. Я был там. Я трогал мир.

— Ты получал сигналы, — поправил Голос. — Ты сидел здесь, в темноте своего черепа, в полной изоляции. А «экран» — твои глаза, твои нервы, твой мозг — транслировал тебе кино. Ты называл это «ветер», но это был лишь электрический импульс, пробежавший по нейрону. Ты называл это «боль», но это был лишь скачок напряжения в сети.

Я уставился на погасший экран. Дядя Витя исчез. Теперь там была просто белая пелена.

Мысль, которую подкинул Голос, начала разворачиваться, как ядовитый цветок.

Вся моя жизнь. Мой бег, мои полеты во сне и наяву, мои

путешествия. Я думал, что я — тело, которое несется сквозь пространство. Но на самом деле я всегда был только точкой наблюдения.

— Подожди, — прошептал я. — Значит, когда я летел в Таиланд... я не летел?

— Твое тело перемещали в металлической коробке, — бесстрастно ответил Смерть. — Но ТЫ? Ты — наблюдатель. Ты всегда оставался неподвижен. Ты просто менял декорации на экране. Ты менял канал. Ты переключал сенсорные потоки. Но сам ты... ты просто сидел и смотрел.

Меня накрыло. Это было сильнее страха. Это было тотальное, сокрушительное изумление.

Я вспомнил, как занимался любовью. Жар, сплетение тел, учащенное дыхание. Мне казалось, я растворяюсь в другом человеке.

— И это тоже? — спросил я. — Секс? Любовь?

— Самый мощный 5D-фильм в вашей фильмотеке, — согласился Голос. — Полное погружение. Тактильные датчики на максимуме, выброс гормонов для усиления эффекта присутствия. Но ты — тот, кто осознавал это наслаждение — ты не двигался. Ты принимал данные.

— Мы просто стимулировали... — выдохнул я.

— Именно. Вы не жили в том смысле, который вкладываете в это слово. Вы не взаимодействовали с материей напрямую. Вы получали отчеты о взаимодействии. Вы — зрители, которые настолько увлеклись сюжетом, что забыли про кресло.

Я посмотрел на экран. Теперь на нем начали мелькать кадры моей жизни. Вот я первый раз пошел в школу. Вот я целую девушку под дождем. Вот я стою на вершине горы.

Раньше я смотрел на это с гордостью: «Я сделал это». Теперь я смотрел с ужасом и восторгом: «Мне показали это».

Я был заперт в капсуле восприятия. Мои ноги, которые «прошли тысячи километров», были лишь фантомом в сознании, в тёмной комнате черепной коробки, куда никогда не попадал солнечный свет, где никогда не было ветра, да ничего вообще не было. Настоящий «Я» — это неподвижная масса, весом полтора кило в черепе под слоем тёплой жидкости... черная дыра, всасывающая и обрабатывающая информацию и выдающая её как свои переживания. Вот тем я был...

— Это гениально, — прошептал я. — И чудовищно. Зачем? Зачем такая сложная иллюзия движения, если мы ста-

ционарны?

— Чтобы вы не сошли с ума от скуки, — ответил Голос. — Вечность — это очень долго. Особенно ближе к концу. Статичность невыносима для сознания. Поэтому был придуман «Сюжет». Пространство, время, причинно-следственные связи. Это просто драматургия, чтобы развлечь Наблюдателя.

Я откинулся на спинку кресла. Ощущение бархата под пальцами стало невыносимо острым.

— А сейчас? — спросил я. — Сейчас я трогаю подлокотник. Это тоже кино?

— Разумеется, — ответил Голос. — Ты уже отбросил тело, но привычка осталась. Ты смоделировал себе зал, кресло и даже меня.

— Тебя? — я напрягся. — Ты же Смерть.

— Я — Функция. Интерфейс. Ты задаешь вопросы — я генерирую ответы, исходя из твоей готовности их принять. Ты хотел глубокого, беспристрастного собеседника? Ты его получил. Хотел бы увидеть чертей — тут бы уже пахло серой.

Я замолчал. Экран перед глазами начал пульсировать мягким светом.

Вывод напрашивался сам собой. Если жизнь была филь-

мом, имитацией движения через стимуляцию нервных окончаний, то чем смерть отличается от жизни?

— Ничем, — ответил Голос, прочитав мои мысли. — Просто меняется носитель. Раньше кино шло через «мясной проектор» — глаза, уши, кожу. Теперь пойдет напрямую. Без посредников.

— И что мне теперь смотреть? — спросил я. Мне стало странно спокойно. Я принял правила игры. Я всегда любил кино.

— Что захочешь. Ты теперь сам режиссер, — сказал Голос. — Дядя Витя смотрит свою драму про прощение. А ты? Что ты хочешь увидеть?

Я задумался. Я мог бы вернуть тот момент на Байкале. Или первую любовь. Или полететь в космос, куда не успел при жизни. Я мог создать любую симуляцию.

Но вдруг меня пронзила новая, неожиданная мысль. Холодная и острая, как скальпель.

Если я — Наблюдатель... И если я всю жизнь просто смотрел кино, которое мне крутил мой мозг...

А кто, собственно, сидит в соседних креслах?

Я медленно повернул голову влево. Пусто.

Я повернул голову вправо. Пусто.

Бесконечные ряды пустых кресел.

— Эй, — позвал я Голос. — А где остальные?

Тишина.

— Где миллиарды людей? Где мои родители? Где друзья?

Если мы все в кинотеатре, то почему зал пуст?

Голос молчал дольше обычного.

— Зал не пуст, — наконец произнес он. И в этот раз в его тональности что-то изменилось. Появилась нотка... сочувствия? Или усталости?

— Я никого не вижу, — сказал я.

— Потому что здесь только одно кресло.

Смысл этих слов доходил до меня медленно, как тяжелый поезд.

— В смысле — одно? — переспросил я. — Ты сказал, что мы зрители.

— Я сказал «Ты». Я не говорил «Мы».

Экран вспыхнул ослепительно белым. И в этом свете я вдруг увидел структуру зала. Здесь не было рядов. Здесь не

было стен. Здесь была только одна точка присутствия.

— Подожди... — у меня перехватило дыхание, которого не было. — Хочешь сказать, что я здесь один? Совсем? А все те люди? Жена? Дядя Витя? Прохожие?

— Персонажи, — ответил Голос. — Сложные, прописанные, автономные, но — персонажи.

— Нет! — крикнул я. — Они чувствовали! Они любили меня! Они делали мне больно!

— Это делало фильм интересным, не так ли? — парировал Голос. — Разве интересно смотреть кино, где массовка картонная? Нет. Тебе нужен был реализм. Ты создал для себя идеальную симуляцию множества, чтобы не чувствовать одиночества.

Я вцепился в подлокотники так, что фантомные пальцы побелели.

— Значит, я все выдумал? Весь мир? Историю? Войны? Искусство?

— Ты стимулировал себя. Ты — единственное существующее Сознание. Ты разделил себя на миллиарды осколков, чтобы сыграть в прятки с самим собой. Чтобы забыть, что Ты — Един.

Меня трясло. Это была не просто смерть человека. Это

был крах вселенной.

— А ты? — крикнул я назад, не оборачиваясь. — Кто тогда ты? Если я один, то кто со мной разговаривает?!

Повисла долгая пауза. Такая плотная, что ее можно было резать ножом.

— Обернись, — сказал Голос. Уже не сзади. А отовсюду.

И я обернулся.

Сзади не было никого. Ни фигуры в капюшоне, ни тени, ни динамика.

Там стояло зеркало. Огромное, во всю высоту зала, черное зеркало.

Я посмотрел в него.

В кресле никого не было. Кресло было пустым.

И тогда я понял.

Нет никакого «Я», которое сидит и смотрит.

Есть только Экран. И есть Луч Света.

Я не зритель.

Я — Проектор.

— А теперь, — прозвучал Мой Собственный Голос, исходящий из пустоты, — запускай следующий фильм. Этот жанр «Человеческая жизнь» был неплох, но мы начинаем повторяться. Давай попробуем что-нибудь из научной фантастики. Или станем ветром. Настоящим ветром, а не тем, кто его чувствует.

Щелчок.

Темнота.

И новый запах. Запах метана, красной пыли и двух солнц над горизонтом.

Сеанс продолжается...

Часть II. День сурка

...Сначала был запах. Не озона, не гнили и не стерильной больничной хлорки, которой обычно пахнет конец. Пахло старым бархатом, пылью, нагретой лампой проектора и немного — жженым сахаром.

Я открыл глаза. Темнота была не абсолютной, а мягкой, фактурной, словно старое сукно шинели. Я снова сидел в кресле. Руки сами нащупали подлокотники — потерявшая ткань, под которой угадывалось жесткое дерево...

...Я вспомнил вкус крови, металлической и соленой, когда разбил губу в драке за какую-то бабу, чье имя я уже забыл.

— Помнишь, — подтвердил Голос. Тон его стал жестче.
— И что?

— Что значит «и что»? — я попытался привстать, но тело казалось налитым свинцом. — Это было настоящим. Боль была настоящей. Радость была настоящей. Это не кино. Дядя Витя там, на экране, лепит суррогат, но я-то был там. В реальности.

Сзади слышался звук, похожий на шелест страниц или

сухой смешок.

— Реальность, — повторил Голос, пробуя слово на вкус, словно оно было испорченным орехом. — А что такое реальность, мой дорогой друг? Электрический импульс, бегущий по аксону? Химическая реакция в синапсе? Ты говоришь о ветре. Но ветра нет в твоём мозгу. Там есть только сигнал: «давление на кожу», «понижение температуры», «шум в ушах». Твой мозг сидел в темной костяной коробке, абсолютно изолированный от мира, и получал шифровки. Ты всю жизнь сидел в кинотеатре, внутри своего черепа, и смотрел кино, которое транслировали твои глаза и уши.

— Но источник сигнала был внешним! — возразил я. — Байкал существовал независимо от меня!

— Докажи, — парировал Голос. — Прямо сейчас. Докажи, что Байкал не был декорацией, которую монтировали перед твоим носом ровно за секунду до того, как ты на нее смотрел. Докажи, что мотоцикл не был просто вибрацией между твоих ног, сгенерированной для убедительности.

Я молчал. Логических аргументов у меня не было. Солипсизм — эта проклятая ловушка разума — был неуязвим.

— Ты видишь дядю Витю? — продолжал Голос. — Он

сейчас делает ровно то же самое, что ты делал всю жизнь. Он генерирует мир, чтобы ему было где существовать. Разница лишь в том, что его сервер отключен от общей сети, и он играет в сингл-плеер. А ты был подключен к ММО. К массовой многопользовательской галлюцинации.

— Зачем? — выдохнул я. Этот вопрос висел в воздухе с момента моего рождения. — Зачем всё это? Если это просто кино, если это иллюзия, зачем столько боли? Зачем рак? Зачем войны? Зачем разбитые сердца? Нельзя было снять комедию? Зачем этот гребаный артхаус с элементами слэшера?

Голос помолчал. Казалось, он подбирает слова, доступные моему пониманию.

— Чтобы ты поверил, — наконец произнес он. — Боль — это якорь. Удовольствие можно симулировать, и ты будешь сомневаться: «А не сплю ли я?». Но когда тебе ломают пальцы дверью, ты не сомневаешься. Боль делает мир плотным. Боль — это гарантия реальности. Ты не можешь игнорировать страдание. Это единственный способ заставить сознание оставаться внутри мясного скафандра. Если бы мир был сплошным наслаждением, вы бы все развоплотились от скуки через неделю.

Экран изменился. Дядя Витя исчез. Вместо кухни появи-

лась пустота. Не черная, не белая, а никакая. Отсутствие цвета и света.

— Ты спрашивал о мотивах, — сказал Голос, и теперь он звучал ближе, словно наклонился к моему уху. — Ты хочешь знать, почему Бог создал этот мир? Почему Он вселился в каждого из вас, став частицей разума в миллиардах тел?

— Да, — сказал я. — Говорят, от любви. Говорят, Он хотел познать Себя. Говорят, это игра. Лила.

— Нет, — отрезал Голос. — Истина куда страшнее и пошлее. Представь себе Единого. Абсолют. Всемогущего и Всезнающего.

Представь, что ты — это Всё. Нет ничего, кроме тебя. Нет «снаружи». Нет «вчера» и «завтра», есть только вечное «сейчас» и бесконечное «я».

Я попытался представить. Получилось плохо, но от одной попытки стало холодно.

— Это не блаженство, — шептал Голос. — Это абсолютная, невыносимая пытка. Это Одиночество с большой буквы. Если ты Один, тебе не с кем поговорить. Тебе не на кого посмотреть. Ты не можешь себя ощутить, потому что нет ничего, что не ты, обо что можно было бы удариться. Ты —

глаз, который видит сам себя. Ты — вакуум в вакууме.

Это безумие. Абсолютное сознание в абсолютной пустоте неизбежно сходит с ума.

На экране вдруг вспыхнула точка. Она взорвалась, распавшись на мириады искр.

— И что делает Бог, чтобы не сойти с ума от вечности наедине с собой? — спросил Голос. — Он совершает акт суицида. Ментального суицида. Он разбивает свое сознание на триллионы осколков. Он создает Иллюзию Множественности. Он придумывает «Другого».

Я смотрел на искры, которые превращались в галактики, в звезды, в планеты, в бактерий, в динозавров, в менеджеров среднего звена.

— Он прячется, — продолжал Голос безжалостно. — Бог играет в прятки не от скуки. Он прячется от Самого Себя. От ужаса быть Единым. Он вкладывает частицу себя в тебя, в дядю Витю, в кошку на помойке, в Гитлера и в святого Франциска. И самое главное условие этой игры: Амнезия.

Ты должен забыть, что ты — Бог. Ты должен свято верить, что ты — маленький, смертный, уязвимый человек. Ты должен бояться смерти. Ты должен ненавидеть врага. Ты должен хотеть обладать женщиной.

Потому что только так возникает Драма. Только так возникает Диалог.

Если бы ты помнил, что твой враг — это тоже ты, ты бы не смог с ним сражаться. Игра бы сломалась. И ты бы снова остался один в пустоте.

— Значит, мы — это просто таблетки от депрессии для Бога? — спросил я с горечью. — Мы — его шизофренический бред, чтобы ему не было скучно?

— Мы — это его способ быть, — поправил Голос. — Бытие возможно только через взаимодействие. А взаимодействовать Единый может только с самим собой, притворившись, что это не он.

Я снова посмотрел на пустые кресла. Внезапно мне показалось, что я вижу в них силуэты. Тени. Миллиарды теней. Все, кто когда-либо жил. Все они смотрели на экран, загнипнотизированные сюжетом, боясь оторваться хоть на секунду.

— И если это кино ничем не отличается от реальности, — медленно проговорил я, повторяя мысль, которая крутилась в голове, — то какая разница?

— Вот! — воскликнул Голос. Впервые в нем прозвучало что-то похожее на одобрение. — Вот ты и подошел к главно-

му вопросу. Какая разница?

На экране снова появился я. Я ехал на мотоцикле. Ветер бил в лицо. Я был счастлив. Я был убежден в своей отдельности.

— Разница, — сказал Голос, — в свободе выхода.

В кинотеатре, когда фильм становится слишком страшным, ты можешь закрыть глаза. Ты можешь встать и выйти в фойе, купить попкорн, подышать воздухом. Ты знаешь, что там, за дверью зала, есть другой мир. Безопасный.

А здесь...

Голос замолчал.

— А здесь? — подтолкнул я.

— А здесь фойе нет, — тихо сказал Голос. — За дверями этого зала нет улицы. Там нет города. Там нет ничего. Только сводящая с ума, ледяная, бесконечная Тьма Единства.

Понимаешь, мы смотрим этот фильм, этот бесконечный сериал под названием «Вселенная», не потому что он хороший. Сценарий часто дерьмовый, актеры переигрывают, режиссера давно пора уволить. Мы смотрим его, вцепившись в подлокотники до белых костяшек, потому что альтернатива — это остаться наедине с Пустотой.

Мы молимся на эту иллюзию. Мы держимся за свою боль,

за свои маленькие трагедии, за свои ипотеки и разводы, потому что это — события. Пока что-то происходит, нам не нужно смотреть в зеркало и видеть там Бездну.

Я почувствовал, как по спине пробежал холодок, куда более реальный, чем тот байкальский ветер.

— Так кто ты? — спросил я снова, уже догадываясь об ответе. — Ты не Смерть.

— Обернись, — сказал Голос.

Я собрал всю волю в кулак. Медленно, преодолевая паралич страха, я начал поворачивать голову. Шея хрустела. Темнота сгущалась.

Я обернулся.

Сзади никого не было.

Кресло было пустым.

Но на спинке кресла лежала тетрадь. Обычная школьная тетрадь в клеточку. И ручка. А на сиденье лежал пульт. Пульт проектора.

Я понял

Голоса не было. Я говорил сам с собой.

Я всегда говорил сам с собой.

Потому что здесь больше никого нет.

Я встал. Ноги дрожали. Я подошел к ряду сзади и взял пульт. Он был тяжелым, теплым, с единственной красной кнопкой.

Если я нажму её, экран погаснет. Дядя Витя исчезнет. Мотоцикл исчезнет. Моя жизнь, мои воспоминания, мои грехи — все исчезнет.

И останусь только Я. Один. Навсегда.

Я посмотрел на экран. Там, в фильме, какой-то парень (я?) сейчас сидел на кухне и плакал, обхватив голову руками. Ему было больно. Ему было невыносимо плохо. Его бросила жена, его уволили с работы, у него болел зуб.

Я поднял пульт. Палец завис над кнопкой выключения.

Заманчиво. Прекратить страдание. Раствориться в покое. Но покой — это смерть Бога. Покой — это та самая тьма.

— Ладно, — прошептал я. — Пусть болит.

Я положил пульт обратно на кресло. Я не нажал кнопку. Вместо этого я взял тетрадь. Открыл чистую страницу. «Для чего же всё-таки Бог создал этот мир?» — написал я, просто чтобы занять руки.

Ответ пришел сам собой. Не голосом извне, а мыслью изнутри.

Чтобы забыть, что Он один. Чтобы притвориться, что зубная боль важнее вечности. Чтобы разменять Бесконечность на мелочь в кармане, потому что Бесконечность нельзя потратить, а на мелочь можно купить коробок спичек и согреться.

Разницы между кино и реальностью нет, потому что реальность — это единственное кино, которое нельзя выключить, не уничтожив зрителя. Мы — заложники сюжета. И слава Богу.

Я сел обратно в свое кресло. Уставился на экран.

Там парень вытер слезы, встал, подошел к холодильнику и достал бутылку пива. Он сделал глоток. Скривился.

— Холодное, — прошептал я вместе с ним.

Ощущение холода на языке было восхитительным. Оно было ложью, но это была самая сладкая ложь во Вселенной.

Сеанс продолжается. Просьба не выключать мобильные телефоны. Нам нужно как можно больше связи. Нам нужно как можно больше шума.

Лишь бы не тишина.

Часть III. Финал

В зале зажегся свет. Неяркий, желтоватый свет бра на стенах. Я увидел, что зал не пуст.

В каждом кресле сидел Я.

Тысячи моих копий. Или не моих?

В первом ряду сидел Наполеон. Рядом — бомж с Казанского вокзала. Дальше — моя первая учительница. Моя бывшая жена. Убийца Чикатило. Святой Франциск.

Они все спали. У всех были закрыты глаза, а к вискам тянулись тонкие, едва заметные провода, уходящие в потолок.

— Ты проснулся первым за эту калыпу, — сказал Голос.
— И у тебя есть выбор.

Передо мной, прямо из воздуха, возник пульт. Обычный пластиковый пульт с одной красной кнопкой.

— Ты понял суть, — звучал Голос. — Ты понял, что ты — Бог. Что все эти люди в зале — это тоже ты. Что весь этот мир — декорация, построенная твоим воображением, чтобы не висеть в черной пустоте.

Кино ничем не отличается от реальности, потому что реальности вне кино не существует. Есть только Сеанс или Пу-

стота.

— И что делает эта кнопка? — спросил я, хотя уже знал ответ.

— Она выключает проектор. Она будит всех. Иллюзия рассеивается. Игра заканчивается. Мы снова становимся Единым. Всезнающим. Всемогушим. И бесконечно, невыносимо Одиноким. Навсегда. Никакого чая. Никакого дождя. Никаких женщин. Только Ты и Вечность.

Я взял пульт в руку. Он был тяжелым.

— А если я не нажму? — спросил я.

— Тогда ты вернешься в зал. Ты забудешь этот разговор. Ты снова станешь маленьким человеком. Ты родишься заново. Может быть, в семье миллионера. А может, в трущобах Мумбаи. Ты будешь снова болеть, влюбляться, стареть и умирать. Ты будешь верить, что мир серьезен.

Я смотрел на пульт. Красная кнопка манила. Истина. Абсолютная свобода. Конец колеса сансары. Нирвана. Разве не к этому стремятся все буддисты и мистики? Разве не об этом я мечтал, читая эзотерические книги? Слияние с Абсолютом.

Но тут я вспомнил.

Я вспомнил запах мандаринов на Новый год.

Я вспомнил, как холодное пиво обжигает горло в жаркий июльский день.

Я вспомнил, как моя жена смеялась во сне.

Я вспомнил, как болит сбитое колено. Как сладко засыпать после тяжелой работы.

Я вспомнил текстуру жизни.

— Разница между кино и реальностью в том, — медленно проговорил я, — что в кино ты зритель. А здесь ты — участник. И боль... боль делает это настоящим.

Я посмотрел на спящих в зале. На Гитлера и на святого, на мать и на убийцу. Они все видели свои сны. Кошмарные, прекрасные сны.

Если я разбужу их — я убью их миры. Я превращу этот пестрый, шумный, кровавый, великолепный карнавал в ледяную тишину Единого Разума.

— Знаешь, — сказал я пустоте. — Я понял, в чем подвох.

— В чем? — Голос звучал с любопытством.

— Ты ведь не внешний наблюдатель. Ты — это та часть меня, которая устала играть. Ты — моя депрессия, возведенная в абсолют. Но есть и другая часть. Та, которая хочет

узнать, чем закончится фильм.

Я размахнулся и швырнул пульт в экран.

Он не разбился. Он прошел сквозь полотно и исчез в белом шуме.

— Я выбираю не знать, — сказал я. — Я выбираю забыть. Я выбираю быть идиотом, который верит, что ипотека — это важно, а смерть — это конец. Потому что только идиот может быть счастлив. И только смертный может любить.

Голос молчал. А потом он начал смеяться. Но это был не злобный смех. Это был смех облегчения. Смех ребенка, которого нашли в прятках, но разрешили спрятаться снова.

— Хороший выбор, — сказал Голос, затихая. — Свет гаснет. Занимай место. Третий звонок.

Я моргнул.

В глаза ударил резкий свет лампочки. Я сидел на кухне. Передо мной стояла чашка с остывшим чаем. За окном шумел ноябрьский дождь. По радио бубнили новости о курсе доллара.

У меня болела голова. Странное чувство дежавю, словно

я только что видел очень важный сон, но забыл его в ту же секунду, как проснулся. Что-то про кинотеатр? Бред.

Я сделал глоток холодного чая. Горько. Противно.

И вдруг меня накрыла волна иррационального, дикого счастья.

Чай был настоящим. Горечь была настоящей.

Эта серая стена, этот дождь, эта моя неудачная, поломанная жизнь — всё это было осязаемым, плотным, тяжелым.

— Господи, — прошептал я, сам не зная, к кому обращаюсь. — Спасибо, что я здесь.

Я встал, подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Где-то там, в глубине моего мозга, крошечная частица меня хихикала, зная правду. Но я успешно заглушил её шумом проезжающего грузовика.

Игра продолжалась. И, черт возьми, это был лучший блокбастер во Вселенной, потому что другого проката у нас не было.

Я пошел ставить чайник. Нужно, чтобы он закипел. Горячее — значит живое.

В этом и была вся разница. Кино можно поставить на паузу.

А жизнь — только прожить.

Человек понял, что он — Бог, и решил, что быть Богом — это самая скучная работа в мире. Он понял, что смысл жизни не в поиске Истины, а в бегстве от неё. Истина — это ноль. Жизнь — это единица. И пока ты чувствуешь боль, ты выигрываешь у Пустоты со счетом 1:0.

Бог создал нас не для того, чтобы мы его нашли. А для того, чтобы мы помогли Ему увидеть Себя...

Половинка

Глава I

Что же такое смерть? Веками мы бьемся головой о стену этого вопроса, словно слепые котята о борт картонной коробки. Принято считать, что это занавес. Финал пьесы, после которого гаснет рампа, и актеры, смыв грим, уходят в сырую осеннюю ночь, где их больше нет. Конец, как завершение всего: мысли, дыхания, любви и ненависти. Черная точка в конце белого листа.

Но есть и другая гипотеза, более пугающая своей обнадеживающей природой. Что, если смерть — это не заход солнца, а его восход? Не выключение света, а резкое, ослепляющее включение прожектора в темной комнате, где мы провели всю жизнь, ощупывая углы? Явление такого порядка, как рождение сверхновой, только происходящее внутри одного конкретного сознания. Переход из агрегатного состояния гусеницы в состояние, которое гусеница не может ни представить, ни описать, не сойдя с ума.

Я долго был адептом первой теории — теории Великой Темноты. Пока жизнь, с присущим ей черным юмором, не

начала методично, словно скальпелем, вскрывать мои убеждения.

Глава II

Первая трещина в монолите моего страха появилась, когда мне было двадцать два. Возраст, когда ты бессмертен по определению, а смерть — это досадная неприятность, случающаяся исключительно с другими, преимущественно старыми и скучными людьми.

Тогда умер отец.

Я помню похороны урывками, словно сквозь запотевшее стекло. Запах дешевого ладана, шарканье ног, приглушенные всхлипы родственников, которые казались мне частью обязательного ритуала, а не искренним горем. Я стоял у гроба, молодой, растерянный, напуганный не столько фактом утраты, сколько необходимостью соответствовать моменту. Я ждал увидеть маску ужаса. Я ждал увидеть печать той самой Великой Темноты, отпечаток борьбы за последний глоток воздуха.

Я заставил себя посмотреть ему в лицо. И замер.

На лице отца застыла не мука, не страх и даже не безразличие. Это была улыбка. Но не та, которой улыбаются шутке, и не та, которой приветствуют друга. Это была улыбка

человека, который наконец-то все понял. Улыбка глубочайшего, всеобъемлющего умиротворения. Словно ему только что сообщили секрет фокуса, который мучил его всю жизнь, и разгадка оказалась до смешного простой и прекрасной.

«А ведь там не всё так плохо, — пронеслось у меня в голове, и эта мысль ударила меня сильнее, чем вид гроба. — Если папе так хорошо, чего же мы тогда плачем?»

Это было первое зерно сомнения. Смерть перестала быть для меня монстром под кроватью. Она стала тайной за закрытой дверью, из-под которой пробивался странный, теплый свет.

Глава III

Прошли годы. Жизнь закрутила, замотала в бытовухе, и то откровение у гроба покрылось пылью. А потом пришел Ковид.

Он явился не как болезнь, а как некий инквизитор, проверяющий на прочность саму суть человеческого существа. Я оказался в реанимации, в отделении интенсивной терапии. Три медсестры, чьи имена я так и не узнал, боролись за мою жизнь с упорством, достойным античных героев. Спасибо им за это, но тогда, в тот момент, я их ненавидел.

Это был мой первый личный опыт умирания. Не наблюдения, а участия.

Представьте себе колодец. Но не тот, из которого черпают воду, а колодец без дна, вырытый в самой ткани мироздания. Я падал туда. И, вопреки всем ожиданиям, вопреки инстинкту самосохранения, там не было страха. Не было паники, не было крика. Было лишь небо, стремительно удаляющееся вверх, превращающееся в точку, и... небольшое удивление.

«Надо же, как интересно», — думал я, кувыряясь в этой

бархатной пустоте.

Там было тихо. Там было спокойно. Это было состояние абсолютного комфорта, словно с тебя сняли тесную обувь, в которой ты ходил сорок лет. Я хотел падать дальше. Я жаждал дна, или, вернее, бесконечности этого падения.

Но вдруг — рывок. Грубый, резкий, болезненный. Какая-то сила вцепилась в меня и потащила обратно, вверх, к свету, к боли, к трубкам и писку приборов. Я сопротивлялся. Я мысленно кричал: «Оставьте меня! Там лучше!».

Я открыл глаза и увидел склонившееся надо мной лицо в защитном щитке. Медсестра трясла меня за руку и что-то кричала.

— Не смей! Не теряй сознание! Дыши!

Я ненавидел ее в ту секунду. Мне хотелось терять сознание. Мне хотелось вернуться в тот уютный колодец. Но меня выдернули, как морковь из грядки, и швырнули обратно в тело, которое болело, задыхалось и страдало.

Я выжил. Каким-то образом, вопреки логике того падения, я остался здесь. Реабилитация была долгой и нудной, тягучей, как остывшая смола. Около года я учился заново чувствовать вкус еды и радость движения, пока не пришел в

себя окончательно.

Я думал, что усвоил урок. Но Смерть, видимо, решила, что я был невнимательным учеником.

Глава IV

Прошло пять лет. Я жил, работал, строил планы, забыв о колодце. И тут Смерть улыбнулась мне снова. На этот раз — широко, во весь рот.

Инсульт. Геморрагический. Мощный. Неожиданный, как удар лома из-за угла в солнечный день.

Это когда без подготовки — раз! И всё! Никаких прелюдий, никаких «звоночков». Вот здесь уже всё было по-взрослому. Если в ковиде я был туристом, то теперь я стал эмигрантом. Я ощутил полное присутствие Смерти. Я чуял её дыхание — сухое, прохладное, пахнущее озоном и землей — на протяжении около трех лет после, да и сейчас ощущаю.

Но что характерно — и это самое поразительное — опять не было страха. Было удивление, смешанное с детским восторгом. Тот же антураж, что и при ковиде, с небольшим, но важным «но».

У меня ничего не болело. Вообще.

Я был здоров, как никогда в жизни. Тело, которое минуту назад было моим хозяином, вдруг исчезло, растворилось. И

мне было очень хорошо! Только немного необычно.

Впечатление было такое, как будто ты стоишь на берегу абсолютно спокойного озера и медленно погружаешь лицо в гладкую, зеркальную поверхность воды. Ты не задыхаешься, нет. Ты переходишь в другую среду. И ты понимаешь, что Смерть — это не где-то там, за горизонтом, в старости или в больнице. Она здесь. Прямо перед твоим носом. На расстоянии вытянутой руки.

Это открытие потрясло меня. Ощущение близости было таким интимным, таким естественным. Это было намного ближе, чем я думал. Словно смерть всегда была моей второй кожей, просто я её не замечал. И снова — никакого ужаса. Только блаженство.

Глава V

А потом декорации сменились.

Вода исчезла. Я оказался в пространстве, лишенном стен и потолка, освещенном ровным, серым светом, исходящим отовсюду. Я стоял — или висел, или существовал — возле ножки огромного стула.

Это был не просто стул. Это было циклопическое сооружение из темного, древнего дерева, уходящее вверх. Стульев было четыре. Они были высотой с трехэтажный дом. Между ними возвышался такой же титанический дубовый стол, покрытый резьбой, смысл которой ускользал от взгляда.

На стульях сидело четверо. Фигуры, закутанные в черные балахоны. Капюшоны скрывали их лица, оставляя лишь глубокую, непроницаемую тьму там, где должны были быть глаза. Высотой они были под стать своим тронам — исполины, чьи плечи подпирали невидимый небосвод.

Они разговаривали. Тихо, но их голоса рокотали, как отдаленный гром. Язык был мне непонятен — гортанный, ритмичный, состоящий из звуков, невозможных для человеческого горла. Но, к моему ужасу и восторгу, я понимал смысл.

Не слова, а суть.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.